

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Сов. культура. - 1988. - 27 дек. - с. 4

Крупинки вечного

Издательством «Искусство» объявлена подписка на новое — девятитомное! — собрание сочинений Константина Сергеевича Станиславского. Хотя тираж и невелик на него при желании можно еще подписаться. Можно-то можно...

Но прежде всего — вопрос доктору искусствоведения Инне Соловьевой.

— Не так давно в интервью, опубликованном журналом «Театральная жизнь», вы говорили об искусстве психологического реализма, об искусстве Художественного театра как о великой культурной утрате, о чем-то, что было значительным и прекрасным и чего нет больше. Не означает ли это, что новое издание сочинений Станиславского, в работе над которым вы участвуете, будет представлять лишь сугубо академический интерес? К слову, ведь те, кому нужно иметь труды Станиславского в личной библиотеке, могут, приложив некоторые усилия, найти у букинистов тома старого собрания — пусть и по каталожной цене...

— Мне лестно, что вам запомнилось сказанное мною об утрате. Может быть, вы помните и то, что там шла речь о вине (она же — беда) теряющих, о легкомыслии, с которым отбрасываешь нечто, что в сущности есть вещь важная. Важнейшая не для кого-то, а именно для самого отбрасывающего. Есть такое бытовое выражение: «пробросался».

Про себя могу сказать: участвую в издании трудов Станиславского еще и потому, что надеюсь — соприкосновение с ними так же интересует, так же поддержит и обогатит (ведь речь идет о счастливейшей эпохе театра!), сердечно обнадежит читателя, как поддерживало, обнадеживало, укрепляло в разные часы моей жизни меня.

Ощущение ценности, более того, ощущение величия человека, с бумагами которого мне приходилось иметь дело на протяжении очень многих лет, никогда не слабело. Станиславский не рвал бумагу. Так уж случилось, что сохранилось практически все — от тетрадей с детскими рисунками до рецептов, которые выписывались старику. Архивист перебирает все. Не помню, кому принадлежит фраза: «Никто не представляется великим человеком своему камердинеру». Архивист, в известном смысле, находится в положении камердинера: видит того, кому он служит, в ежедневности и неприбранности. Так вот, кладу руку на книгу и не солгу: среди оставленного Станиславским не знаю ничего, что унижало бы его облик.

Когда в 1923 году МХАТ играл в США, сын Качалова, Вадим Васильевич, запомнил, как воспринимали Станиславского: «Соединение в одном человеке джентльмена с гением — это единственно и неповторимо. Таких нет и не было».

Станиславский в буквальном и в переносном

смысле слова был выше всех на голову. Но (рассказывает М. Ф. Андреева) он был так красив и пропорционален, что воспринимался как норма. Он свидетельствовал собою, что большой рост естествен для человека, свидетельствовал собою, что так жить в искусстве можно, что именно так, в полный рост, жить и следует.

Не проповедничал, а свидетельствовал собою.

С тех пор как завершилось первое издание сочинений Станиславского (тому более четверти века), разыскано множество рукописей, расшифрованы новые записи, найдены письма. Изучение истории Художественного театра и творчества Станиславского за эти годы далеко продвинулось вперед усилиями серьезных исследователей — от Павла Маркова до ныне возглавляющего издание Анатолия Смелянского. В собрании сочинений обновляется аппарат, который — в одних томах — раскрывает общественный и театральный контекст трудов К. С., в других же — погружит читателя в проблемы актерской техники, как их снова и снова ставил неутомимый экспериментатор, работавший до последних дней своих.

То, что тома Станиславского нужны практикам сцены — даже тем, кто демонстративно отказывается от «системы», — вне сомнений. Помню эффектный рассказ Н. Крымовой, как она подарила Юрию Любимову свою книгу про К. С. и как он лихо зашвырнул ее за книжный шкаф в кабинете. Но вот читаю записи репетиций — Любимов восстанавливает свой спектакль «Борис Годунов», а записывает репетиции Н. Лордкипанидзе. Строится зрелище площадное, нагое, грубое. Но как же этот режиссер понимает актерскую природу, как считается с нею и пользуется ею, ставя задачи, как побуждает актера действовать и будит его «ток»!..

Я не к тому, чтобы сослаться на шумящее имя Юрия Любимова подманить к Станиславскому. Это было бы низко да и глупо. Я говорю о вещах внеконъюнктурных — о природе актерского творчества, о корневых системах, о почве, об органике искусства. Как говорил о том Станиславский, слишком длинно здесь цитировать. И трудно короче, чем он это сделал сам. Изложить мысль о том, как всякий новый художник берет «крупинку великого, вечного и прибавляет к ней свое. В свою

очередь и оно несется следующим поколениям, и снова по пути растеривается за исключением маленькой частицы...».

В свое время Станиславского то клеймили за связь его искусства с русским промышленным капиталом, то выгораживали и предъявляли документы о его политической неблагонадежности при царе. Художественный театр так же представлялся сомнительным, как представлялись сомнительны Чудов монастырь и Михайловский Златоверхий собор, как Фет или Тютчев, как «История государства Российского» Карамзина. Вещи, создаваемые вне конъюнктуры, нередко приносятся в жертву конъюнктуре. Сейчас могут взяться за выяснение отношений Станиславского со сталинизмом. Когда

Будем надеяться. И все же какая-то — очевидно, еще не обновившаяся и не поумневшая — часть моего сознания потихоньку ехидствует: «Что, братец, побежишь подписываться? Ты что — читать все это будешь!» И правда — буду ли!

Как и все студенты ГИТИСа, в свое время я полудобросовестно штудировал «Мою жизнь в искусстве» и «Работу актера над собой»: полу — поскольку читалось не только ради познания, но и ради экзамена. Заранее известный круг вопросов как бы расписывал читаемое по схеме. Все, не уместящееся в экзаменационный катехизис, подразумевалось не то чтобы мало важным, но лишенным конкретности и обязательности. В конце концов увлекаться чтением — роскошь, на которую студент далеко не всегда имеет право.

К «Работе...» потом так и не довелось всерьез вернуться: это все же довольно тяжелый текст, смысл которого нужно с усилием отдира от чрезмерно чеканных формулировок. «Жизнь...» перечитывалась: каждый раз — с возрастающим чувством влюбленности и признательности. Мне, не практику и не историку театра, «жизнь», видимо, всегда интересней, чем «работа». Хотя и «жизнь» не в любой подробности.

Боюсь, что я не способен испытывать восторг архивиста перед каждым фактом, каждым клочком бумаги, сообщающим, что, допустим, начало репетиции задержалось на 8 1/2 минут. Это так же неинтересно, как вычислять: сколько раз можно утопить население Европы в Атлантическом океане. Много раз — ну и что?

Но дух жизни — это действительно важно. Это не подлежит правильно выстроенному изучению, не воссоздается собранием фактов и не всегда уместяется в книги. Точнее, так: очень многое зависит от того, как составлена, прокомментирована и издана книга, кто и как делал ее, в какой мир она входит. По старому восьмитомнику можно изучать Станиславского, отцеживая наставительный комментарий,

да мы научимся воспринимать искусство иначе и связи его с социальной реальностью исследовать иначе?

При том, что связи бесконечно интересны. ...На обороте одного из вариантов главы «Работы актера над собой» в первый раз прочла карандашные наброски отклика на смерть Орджоникидзе. К. С. пишет: жаль работника, так много сделавшего (в развитии промышленности бывший директор фирмы Алексеевых разбирался и рынок пятилеток ценил, понимая); пишет: как, должно быть, горько товарищам Орджоникидзе потерять его. Да, Станиславский не знает, как умер нарком и что вправду испытывают те, кто стоит в почетном карауле... Войдут ли эти записки в очередной том? Том складывается. Посмотрим.

Договорю то, о чем начала. В новом собрании сочинений будет много новых материалов, но мы вовсе не собираемся заманивать встречей с «новым Станиславским». Новыми — надо надеяться, в чем-то поумневшими — должны быть мы.

слишком подчиненный своему времени. Но тот глубоко личный контакт, то впитывание сверхсловесного знания, надеясь на которое, художник (не писатель!) обращается к бумаге, то соприкосновение внутренних миров, ради которого и существует Книга — «кубический кусок горячей, дымящейся совести» (Пастернак), — в добросовестном и полезном издании 50—60-х годов состояться не может.

Мне хочется верить, что новое собрание сочинений Станиславского будет не книгой-памятником, а книгой-собеседником. Не только потому, что его готовят люди, которых я высоко ценю и, сознавая их превосходство во всех отношениях, люблю. Не только потому, что верю: талантливый и глубокий комментарий помогает находить «крупинки вечного» в самой тяжелой и неподатливой словесной «породе» (тяжелая отнюдь не значит «пустая», часто и наоборот). Новое издание выходит во время, когда приверженность искусству психологического реализма освобождается от привкуса благопослушности и делается драматическим жизненным выбором. Это дает шанс увидеть в Станиславском не канонизированного театрального гуру «всех национальностей и всех эпох», а гениального экспериментатора. Это дает шанс — если не разгадать счастливое и возвышенное соединение благородства и труженичества, то хотя бы прикоснуться к нему заново и всерьез. Новое издание предложено (нет, не «предложено» — доверено) самому широкому читателю: в том смысле слова «широкий», который подразумевает не общедоступность, а душевную широту и отзывчивость, способность открывать новое и открываться навстречу.

А. СОКОЛЯНСКИЙ.